

A romantic couple stands on a tropical beach at sunset. The woman, with long blonde hair, is on the left, wearing a patterned dress. The man is on the right, shirtless and wearing shorts. They are facing each other, looking out at the ocean. The sun is low on the horizon, creating a golden glow over the water and sky. Palm trees and lush greenery are visible on the left side of the frame. The overall mood is serene and intimate.

Сергей Патрушев

Тень лучшего друга

Сергей Патрушев
Тень лучшего друга

«Автор»

2026

Патрушев С.

Тень лучшего друга / С. Патрушев — «Автор», 2026

Десять лет он был для неё лишь тенью — тем, кто всегда рядом, но никогда на первом плане. Он встречал её после работы с двумя стаканчиками любимого латте, варил куриный бульон, когда она болела, выслушивал бесконечные жалобы на других мужчин и молча хоронил свою любовь под маской «просто друга». Она принимала всё как должное, пока не вышла замуж за другого, а он не остался один на один с разбитым сердцем и пустой квартирой. Но однажды, закрыв глаза от отчаяния, он открыл их уже совершенно другим человеком — человеком, который увидел мир иначе, который научился превращать возможности в богатство, а боль — в силу. Теперь у него есть всё: успешный бизнес, роскошная жизнь, красавица, рядом с которой он обретает настоящее счастье, и мальдивские закаты, ставшие привычной декорацией. А где-то далеко, в сером дождливом городе, она смотрит на его фотографии и с опозданием понимает, кого потеряла. «Тень лучшего друга» — это пронзительная история о любви, которая годами оставалась невысказанной.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Патрушев

Тень лучшего друга

Глава 1. Эхо несказанных слов

Я узнал его шаги задолго до того, как раздался стук, потому что Дэн всегда ходил с той особенной, немного тяжеловесной уверенностью, вбивая каблуки в тротуарную плитку так, будто сама земля была должна ему арендную плату за право нести его вес, и этот глухой, ритмичный, неизбежный звук я мог бы выделить из тысяч других, даже находясь в полубессознательном состоянии, даже спустя годы разлуки, даже в шуме незнакомого города. В этом звуке было что-то от самой судьбы — неумолимой, как прилив, и такой же древней, как моя любовь к нему. Три коротких, отрывистых удара в дверь, за которыми последовала пауза длиной в один удар сердца, а затем ещё один, завершающий, — этот древний кодекс мы придумали ещё в седьмом классе, когда прятались друг от друга в тёмных, пропахших сыростью подъездах, воображая себя секретными агентами на важном задании, и мне вдруг стало смешно и немного горько от осознания того, что он помнил эту детскую последовательность до сих пор, в то время как многие куда более важные вещи стёрлись из его памяти. А может быть, и не стёрлись — может быть, он просто делал вид, что забыл, потому что помнить некоторые вещи было слишком больно, слишком ответственно, слишком похоже на признание. Я часто думал об этом — о том, сколько всего мы оба помним, но никогда не произносим вслух, сколько моментов хранится в нашей общей, нигде не записанной книге воспоминаний, и как мало нужно, чтобы эта книга открылась на самой болезненной странице.

Я отложил книгу, которую безуспешно пытался читать последние полчаса, скользя взглядом по одному и тому же абзацу, словно заезженная пластинка, потому что мысли мои были далеко — они блуждали по лабиринтам прошлого, по тем коридорам памяти, где каждая дверь вела к нему. Это была та странная, сумеречная пора осеннего вечера, когда за окном уже стемнело, но внутри ещё не зажжён свет, когда предметы в комнате теряют чёткость очертаний, становясь похожими на призраков, и когда собственные мысли приобретают особенную, пронзительную ясность, граничащую с болью. Я как раз думал о том, что одиночество — это не отсутствие людей вокруг, а отсутствие одного-единственного человека, того самого, чьё присутствие делает мир осмысленным, а тишину — наполненной. Я думал о Дэне, разумеется, — о ком же ещё мне было думать в этот час, когда весь мир, казалось, замер в ожидании чего-то неизбежного, как замирает природа перед грозой. Я пошёл открывать, заранее зная, кого увижу на пороге, но, когда я распахнул дверь, в груди всё равно что-то екнуло — то ли от запоздалой неожиданности, то ли от той глупой, ничем не оправданной надежды, которая живёт в сердце каждого влюблённого, надежды на то, что именно сегодня, именно сейчас всё изменится, что вселенная наконец сжалится над тобой и перепишет сценарий, по которому ты обречён быть лишь статистом в чужой истории.

На пороге стоял Дэн, мой лучший друг, моё самое сладкое проклятие, человек, ради которого я в шестнадцать лет прыгнул с обрыва в ледяную, обжигающую воду на безумный спор, потому что он сказал «слабо», а я скорее умер бы, чем признал, что мне действительно слабо, когда речь шла о нём. И тот же самый человек, который в двадцать четыре забыл поздравить меня с днём рождения, потому что у него были «дела», которые, как выяснилось позже, звали Алисой и обладали светлыми волосами и привычкой залиvisto смеяться над каждой его шуткой, даже самой плоской и глупой. Я помню тот день в мельчайших подробностях: как я сидел один в своей квартире, как накрыл стол на двоих, как зажжёт свечи и ждал до полуночи, глядя на

телефон, который молчал с упорством, достойным лучшего применения, а потом задул свечи и убрал еду в холодильник, чувствуя себя последним дураком на свете. Я ненавидел Алису всеми фибрами души, однако берёг это признание глубоко внутри, никогда не позволяя себе озвучить его даже в пустой комнате наедине с собой, потому что признать ненависть к ней означало признать и кое-что другое, куда более страшное — а именно то, что я люблю его, люблю так, как не должен любить своего лучшего друга. И это осознание жгло меня изнутри все эти годы, словно уголёк, который никогда не гаснет, сколько ни заливай его водой самообмана.

— Проходи, — сказал я, отступая в сторону, и мой голос прозвучал ровно, почти равнодушно, демонстрируя ту особую способность прятать бурю за штилем, которую я развивал годами упорных тренировок перед зеркалом. Сколько раз я репетировал этот тон — спокойный, дружелюбный, лишённый всякого намёка на то, что творится у меня внутри! Сколько раз я представлял себе эту сцену, этот момент, когда он придёт и скажет что-то важное, и я должен буду встретить его с тем самым выражением лица, которое не выдаст ни моей тоски, ни моей надежды, ни моей любви! Дэн прошёл в прихожую, оставляя на светлом ковровом покрытии мокрые, быстро темнеющие следы, потому что на улице моросил тот самый противный осенний дождь, который представляет собой нечто среднее между водой и воздухом, зависая в пространстве холодной, пронизывающей до костей пылью. Этот дождь всегда навевал на меня меланхолию, заставляя вспоминать всё то, что я предпочёл бы забыть, — наши совместные прогулки под такими же дождями много лет назад, когда он накрывал нас обоих своей курткой, и мы бежали, смеясь, по лужам, и мир казался бесконечно прекрасным и полным возможностей. Теперь же этот дождь был просто напоминанием о том, что осень неизбежно сменяется зимой, а за ней приходит весна, и так год за годом, а я всё стою на одном месте.

Он явился без зонта, и капли влаги блестели в его тёмных, отросших чуть длиннее положенного волосах, придавая ему тот самый нарочито небрежный шарм, от которого у девушек подкашивались колени, тогда как у меня лишь сжималось сердце в медленном, тягучем спазме, который я научился игнорировать, как научиваются игнорировать хроническую боль. Я часто спрашивал себя: что именно я в нём люблю? Его глаза, его голос, его смех? Или то, как он смотрит на мир — с этой невероятной, заразной уверенностью в том, что всё будет хорошо, что все двери открыты, что любая проблема решаема? А может быть, я люблю в нём ту свободу, которой лишён сам, — свободу быть собой, свободу не прятаться, свободу жить так, как хочется, а не так, как диктуют страх и условности? Я направлялся на кухню, движимый исключительно потребностью занять руки, потому что когда я смотрел на него слишком долго, я начинал совершать глупости, вроде того, чтобы замечать, как похудело его лицо за последний месяц, как залегли глубокие тени под глазами и как он покусывает нижнюю губу — эта детская привычка, оставшаяся с давних времён, служила вернейшим признаком крайнего волнения, которое он тщетно пытался скрыть. Я изучил его за эти годы досконально, до мельчайших жестов, до мимических морщинок, до того, как он морщит нос, когда чем-то недоволен, и до того, как его глаза загораются, когда он говорит о чём-то, что ему действительно интересно. Я был ходячей энциклопедией Дэна, я знал его лучше, чем кто-либо другой в этом мире, и это знание было одновременно моим величайшим сокровищем и моим проклятием, потому что чем больше я его узнавал, тем сильнее любил, а чем сильнее любил, тем больнее мне было от мысли, что я никогда не смогу быть с ним так, как мне хочется.

Я насыпал молотый кофе в турку, стараясь просыпать мимо как можно меньше драгоценных крупинок, и думал о том, сколько раз за эти годы мы пили кофе вместе — на этой самой кухне, в студенческом общежитии, в дешёвых забегаловках, куда ходили, когда были совсем на мели. Кофе был нашим ритуалом, нашей константой в меняющемся мире, нашим поводом

для разговоров, которые затягивались до утра. И каждый раз, когда он сидел напротив меня, обхватывая горячую чашку ладонями и рассказывая что-то с присущим ему воодушевлением, я думал о том, что хочу, чтобы этот момент никогда не кончался, чтобы время замерло, чтобы мы навсегда остались вдвоём в этом маленьком, уютном пространстве, где внешний мир не имеет значения. Но момент всегда кончался, и он уходил — к очередной девушке, на очередную встречу, в очередное приключение, а я оставался и допивал свой остывший кофе, глядя в пустоту и уговаривая себя, что дружба — это тоже форма любви, причём самая чистая и бескорыстная. Я почти убедил себя в этом за десять лет.

Обернувшись через плечо, я увидел, что Дэн стоит в дверном проёме кухни, прислонившись плечом к косяку, и смотрит на меня с той новой, незнакомой мне прежде интенсивностью, от которой по спине пробежал холодок предчувствия — того самого предчувствия, которое охватывает тебя за секунду до важного известия, когда ты ещё не знаешь, хорошее оно или плохое, но уже понимаешь, что твоя жизнь вот-вот изменится. В его глазах читалось что-то такое, чему я не мог подобрать названия, — смесь решимости и страха, надежды и отчаяния, словно он собирался совершить поступок, который перечеркнёт всё, что было между нами до сих пор, и начнёт новую главу с чистого листа. Я испугался — испугался до дрожи в коленях, до холодного пота на ладонях, — потому что, как ни парадоксально, перемен я боялся куда больше, чем сохранения статус-кво. Привычная боль была мне знакома и почти уютна, я сжился с ней, как сживаются со старым шрамом, а вот неизвестность пугала до чёртиков.

— Я уезжаю, — произнёс он тихо, почти шёпотом, но в стерильной тишине моей пустой квартиры эти два слова прозвучали как выстрел, эхо которого ещё долго металось между стен, отражаясь от потолка и пола, проникая в каждую клеточку моего существа. Уезжаю. Это слово повисло в воздухе, тяжёлое и неотвратимое, как гильотина. Уезжаю — значит, всё кончено. Значит, наши редкие встречи, наши разговоры до утра, наше «вместе», которое никогда не было по-настоящему вместе, — всё это подходит к концу. Он уедет, и я останусь здесь, в этой квартире, которая без него станет ещё более пустой, ещё более молчаливой, ещё более похожей на склеп. Я представил себе утро без возможности позвонить ему, вечер без надежды на его внезапный визит, ночь без мыслей о нём — и понял, что такая жизнь будет лишь бледной тенью существования, механическим функционированием организма, лишённым души. Рука, державшая турку, дрогнула, и немного воды выплеснулось на раскалённую конфорку, зашипев и мгновенно испарившись, оставив после себя лишь крошечное белое пятно соли — такое же крошечное, как моя надежда на то, что он говорит не всерьёз.

Я повернулся к плите, симулируя полную поглощённость процессом приготовления кофе, чтобы выиграть немного времени, необходимого для осознания смысла сказанного, для того чтобы переварить слово «уезжаю», которое жгло сознание, как кислота, разъедая все те хрупкие конструкции самообмана, что я возводил годами. Мне нужно было взять себя в руки, нужно было надеть привычную маску, нужно было стать тем самым «просто другом», которым я был для него все эти годы, — понимающим, поддерживающим, ни в коем случае не позволяющим себе истерик или сцен. Потому что «просто друг» не имеет права на истерику, не имеет права кричать «не уезжай, потому что я без тебя умру», не имеет права хватать его за плечи и трясти, выплескивая десять лет невысказанных признаний. «Просто друг» должен пожать руку, похлопать по плечу, пожелать удачи и остаться на перроне, глядя, как поезд увозит часть его души в неведомую даль. Вместо того чтобы задать хоть один из вопросов, роившихся в голове — куда, навсегда ли, почему именно сейчас, почему ты ничего не говорил раньше, — я произнёс то, что требовал от меня наш многолетний ритуал дружбы, спросив ровным, почти светским тоном, который стоил мне невероятных усилий:

— Далеко?

Дэн выдохнул, и в этом выдохе мне послышалось одновременно облегчение и разочарование, словно он ждал, что я сорвусь, закричу или брошу в него чем-нибудь тяжёлым, — и, чёрт возьми, я должен был так и сделать, я должен был закричать, должен был показать ему, что мне больно, что я не железный, что я тоже живой человек с живым, трепещущим сердцем, которое он сейчас безжалостно разрывает на части. Но я был вылеплен из другого теста, я был тем, кого с детства учили скрывать эмоции, не показывать слабость, держать лицо — и я держал его, держал из последних сил, хотя внутри у меня всё рушилось, как картонный домик под порывом ураганного ветра. Я был просто другом, а просто друзья обязаны понимать, поддерживать и махать платочком вслед уходящему поезду, храня своё глупое, беззащитное сердце под амбарным замком, ключ от которого они сами же и выбросили в тёмную, мутную реку лет десять назад.

Он начал объяснять что-то про стажировку в Сиэтле, про компанию, которая предложила ему постоянную позицию, про отъезд через месяц, и говорил отрывисто, словно боялся, что я перебью его на полуслове или что он сам утратит решимость и замолчит, не закончив начатую фразу. Я слушал его и думал о том, что Сиэтл — это не просто город на другом конце континента, это целая вселенная, в которой мне нет места. Там будут другие улицы, другие кафе, другие люди, другие девушки с их светлыми волосами и пустым смехом, и среди всего этого нового, блестящего мира не будет меня — того, кто знает, какой кофе он предпочитает по утрам, кто помнит его детские страхи и юношеские мечты, кто готов слушать его бесконечные монологи о работе, о жизни, о смысле бытия, даже если эти монологи повторяются из раза в раз. Меня не будет, и он постепенно забудет обо мне — не сразу, конечно, сначала будут звонки, сообщения, может быть, даже письма, но постепенно частота их будет уменьшаться, пока не сойдёт на нет, потому что расстояние убивает даже самую крепкую дружбу, а уж тем более такую странную, такую мучительную, такую невзаимную, как наша.

Я разлил готовый кофе по чашкам и одну протянул ему, ощутив, как наши пальцы соприкоснулись на какую-то долю секунды, и этого мимолётного касания хватило, чтобы меня словно ударило током, заставив отдернуть руку быстрее, чем того требовали приличия. Каждый раз, когда мы соприкасались — случайно, мимолётно, — моё тело реагировало раньше, чем разум успевал вмешаться, и эта реакция была красноречивее любых слов, она была чистой физикой, против которой бессильна любая психология. Я отдернул руку, потому что боялся, что если задержу ладонь на его ладони хотя бы на секунду дольше, он всё поймёт, прочтает в этом жесте всю мою тайну, увидит за маской «просто друга» подлинное лицо человека, который любит его уже десять лет — любит безнадежно, мучительно, всепоглощающе. Дэн, сделав вид, что ничего экстраординарного не произошло, отхлебнул обжигающий напиток, даже не подув на него, и сморщился то ли от горечи кофе, то ли от горечи момента. Я знал этот кофе — он был горьким, слишком горьким, я снова переварил его, как переваривал всегда, когда нервничал. Но Дэн ничего не сказал, он просто пил эту горечь, и мне показалось, что это своего рода жест солидарности: мы оба сейчас пьем горечь, только разную по своей природе.

— Поздравляю, — сказал я, и это слово прозвучало настолько фальшиво, диссонируя с моим истинным состоянием, что мне самому стало противно за собственное лицемерие, за то, как легко я вошёл в привычную роль, которая была мне уже мала, как старая одежда. Я поздравлял его, хотя хотел упасть на колени и умолять остаться, хотел сказать: «Не уезжай, потому что без тебя этот город потеряет для меня всякий смысл, эта квартира превратится в

гробницу, а моя жизнь станет бессмысленным ожиданием непонятно чего». Но вместо этого я улыбался своей кривой, тщательно отрепетированной улыбкой и говорил банальные, ничего не значащие слова. — Это же то, чего ты всегда хотел, с самого детства: уехать, увидеть мир, вырваться из этой дыры.

Дырой мы ласково называли наш родной город, из которого оба мечтали вырваться, и я всегда мечтал вырваться вместе с ним, деля одно приключение на двоих, представляя, как мы будем покорять чужие страны, пробовать экзотическую еду, теряться в незнакомых улицах и находить друг друга заново в каждом новом месте. Но теперь он вырывался один, уезжал в новый мир, к новым возможностям, к новым Алисам с их светлыми волосами и пустым, беззаботным смехом, в то время как я оставался тут, в квартире, где каждая стена была свидетелем наших разговоров до рассвета и нерушимым памятником нашей дружбе, которая, как выяснилось, значила для него не так уж много. Оставался, чтобы ходить по тем же улицам, пить кофе в тех же кафе, сидеть на тех же скамейках в парке — но уже без него, в одиночестве, которое станет моим единственным спутником.

— Ты мог бы поехать со мной, — сказал Дэн, глядя исключительно в чашку с кофе, и его голос прозвучал глухо и неуверенно, словно он предлагал мне нечто запретное, то, о чём даже заикаться было опасно, то, что могло разрушить хрупкий баланс наших отношений. Моё сердце пропустило удар, а потом забилося где-то в горле, пульсируя безумной, совершенно иррациональной надеждой, которая мгновенно нарисовала перед внутренним взором картины нашей совместной жизни где-то там, за океаном: как мы просыпаемся в одной квартире, как пьём кофе на балконе с видом на залив, как исследуем город вместе, как наши жизни наконец-то переплетаются так тесно, что становятся неразделимыми. На секунду, всего на одну блаженную секунду, я позволил себе поверить в эту сказку, позволил себе представить, что всё возможно, что он зовёт меня с собой потому, что тоже не представляет своей жизни без меня, что там, в Сиэтле, всё может измениться, может стать лучше, может стать так, как я мечтал. Но вслед за надеждой, как всегда, пришла отрезвляющая, как пощёчина, реальность: бросить всё, мою стабильную работу в местной газетёнке, где я писал заметки о пропавших кошках и юбилеях пенсионеров, мою съёмную квартиру с вечно засорённым сливом в ванной, весь мой устоявшийся, предсказуемый, безопасный мирок — бросить всё и сорваться за ним, словно верный пёс, чтобы стать кем? Обслужкой его новой блестящей жизни, свидетелем его новых романов, доверенным лицом, в жилетку которому можно плакаться, когда очередная любовь всей его жизни окажется пустышкой? Чтобы сидеть в углу его шикарной сиэтлской гостиной, потягивать виски и слушать рассказы о том, как он влюбился в кого-то снова, как она прекрасна, как он счастлив, — и всё это с каменным лицом, пряча за спокойной улыбкой агонию собственного сердца? Нет уж, увольте, такой судьбы я себе не желал, я лучше останусь здесь, где хотя бы имею иллюзию контроля над своей жизнью.

— Зачем? — я заставил себя улыбнуться, и улыбка вышла кривоватой, жалкой пародией на беззаботность, которую я так старательно культивировал. — Чтобы мешать тебе строить карьеру и покорять американских красавиц? У меня здесь работа, Дэн, ипотека, которую я только начал выплачивать, и кот.

Кота, разумеется, у меня не существовало, а существовала лишь та самая ипотека за квартиру, купленную год назад, когда я вдруг осознал, что наши общие планы рушатся, как карточный домик, и что Дэн всё чаще пропадает у той девушки, у Алисы, в то время как я лежу по ночам без сна и убеждаю себя, что это нормально, что друзья должны радоваться друг за друга и что я просто собственник и эгоист, вбивая эту мантру себе в голову так часто, что почти

поверил в неё. Квартира была моей попыткой пустить корни, моим способом сказать самому себе: «Смотри, у тебя есть обязательства, у тебя есть ипотека, ты не можешь просто сорваться с места и побежать за ним, как бездомная собачонка, так что прекрати мечтать о несбыточном и начни жить реальной жизнью». Но реальная жизнь, как назло, упорно не желала становиться полноценной без него, она оставалась какой-то половинчатой, незавершённой, словно симфония, в которой забыли дописать вторую скрипичную партию.

— Я серьёзно, — произнёс Дэн, поднимая наконец глаза, в которых плескалась та странная, отчаянная решимость, что бывает у человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду с осознанием невозможности пути назад, и это выражение было точь-в-точь как у меня тогда, в шестнадцать, на том самом глупом споре, когда я стоял на краю обрыва, глядя в тёмную воду, и понимал, что сейчас сделаю шаг вперёд — не потому, что он сказал «слабо», а потому, что я не мог позволить ему увидеть мой страх, не мог позволить ему разочароваться во мне. Сейчас на кону стояла не просто уязвлённая гордость, а вся наша дальнейшая жизнь, и я видел по его глазам, что он это понимает. — Я подумал... Может быть, нам давно пора перестать притворяться?

Тишина, повисшая в кухне, обрела почти физическую плотность, её можно было потрогать, как холодный, дрожащий кисель, пронизанный звуками шумящих в стене труб, капающей из неплотно закрытого крана воды и моего собственного сердца, бьющегося громко, набатом, отдаваясь пульсацией в висках. Перестать притворяться — эти слова звенели в воздухе, не желая оседать, они кружились вокруг меня, как назойливые осенние мухи, и я судорожно пытался расшифровать их истинный смысл, перебирая в уме все возможные интерпретации, одну страшнее другой. Говорил ли он о нашей дружбе как о ширме, за которой мы оба прячемся от чего-то большего? Замечал ли он мои взгляды, которые я так старательно прятал, отводя глаза всякий раз, когда он оборачивался? Чувствовал ли он ту дрожь, что сотрясала меня в тот единственный вечер, когда мы, выпив слишком много дешёвого вина, уснули на моём диване, и он во сне обнял меня, притянув к себе, а я лежал без сна до самого утра, боясь пошевелиться, боясь спугнуть это мимолётное, случайное тепло, и молился всем богам, в которых не верил, чтобы этот момент никогда не кончился? Я боялся ответов на эти вопросы, боялся до тошноты, до головокружения, потому что любой ответ — положительный или отрицательный — нёс с собой разрушение нашего привычного мира. Если он скажет, что заметил, что всё понял и что ему противно, — я умру от стыда. Если он скажет, что заметил и что чувствует то же самое, — я умру от счастья, а это, как ни странно, пугало меня не меньше.

Я отпил кофе, и он оказался горьким и обжигающим горло, давая мне короткую передышку, необходимую для того, чтобы собраться с мыслями и надеть привычную броню сарказма — мою самую надёжную защиту, которая ни разу не подводила меня за все эти годы. Сарказм был моим щитом и мечом, моим способом держать людей на расстоянии, моим лекарством от любой душевной боли. Я спросил с деланно поднятой бровью, вложив в эту фразу всю ту иронию, на которую был способен:

— Притворяться в чём? В том, что тебе нравится мой кофе?

Удар сработал именно так, как я рассчитывал, мгновенно сменив напряжённо-решительное выражение лица Дэна на растерянно-обиженное, и я мысленно похвалил себя за эту способность давать пощёчину юмором, обращая в шутку любой его порыв к серьёзному разговору, к прорыву той дамбы, которую мы оба старательно возводили долгие годы. Мной руководил глубинный, животный страх, тот самый страх, который заставляет газель замереть при виде

льва, — страх, что если мы начнём этот разговор по-настоящему, обратной дороги уже не будет и наши отношения рухнут окончательно, убитые ядовитыми словами быстрее и надёжнее, чем любым расстоянием, даже расстоянием до Сиэтла. Я боялся потерять его, боялся даже незначительного охлаждения, боялся, что после этого разговора он будет смотреть на меня иначе — с жалостью, с неловкостью, с тем особым выражением лица, которое бывает у людей, когда они узнают о ком-то что-то глубоко личное и не вполне удобное. Я предпочитал вечно хранить свой секрет, носить его в себе, как носят неизлечимую болезнь, и умереть вместе с ним, лишь бы только не видеть, как меняется его взгляд при слове «люблю».

— Я про другое, и ты это знаешь, — его голос приобрёл жёсткость, ту особую, непрелюбимую жёсткость, которая всегда появлялась у него в моменты крайней решимости, когда он уже принял решение и ничто на свете не могло заставить его свернуть с выбранного пути. Он отставил недопитую чашку на стол, и этот глухой стук керамики о дерево прозвучал как точка в конце предложения, как звук захлопывающейся ловушки, как сигнал того, что обратного пути действительно нет. Затем он сделал шаг ко мне, вынуждая меня инстинктивно отступить и упереться поясницей в кухонную столешницу, отрезав себе все пути к отступлению — физические и метафорические. Он стоял слишком близко, заполняя собой всё пространство, как всегда заполнял его в моей жизни, и я чувствовал запах его парфюма, смешанный с запахом табака и осеннего дождя, — тот самый аромат, который преследовал меня в снах, который я пытался найти в толпе на улице, который казался мне самым родным запахом на свете. — Я про нас, про нас с тобой, про то, что происходит между нами уже лет десять как. Я устал, слышишь? Я устал делать вид, что ты мне просто друг.

Мир сузился до размеров этой кухни, до его глаз, в которых я увидел собственное отражение — испуганного, загнанного в угол человека, который так долго жил в парадигме «просто друга», так долго убеждал себя, что эта роль является высшей формой доступной ему близости, что теперь, когда он сам выбивал табуретку у меня из-под ног, я испытывал лишь панику, сходную с той, что испытывает узник, внезапно ослеплённый ярким светом после многолетнего заточения в темнице, где свет начинает жечь глаза и казаться врагом, а свобода представляется не освобождением, а угрозой. Мой разум судорожно метался в поисках выхода, в поисках какой-нибудь спасительной шутки, которая могла бы разрядить обстановку, но шутки кончились, арсенал сарказма был опустошён, и я остался совершенно безоружным перед ним, перед его словами, перед его близостью. Я чувствовал, как рушатся последние бастионы моей обороны, как трещит по швам моя драгоценная броня, как всё то, что я так старательно прятал все эти годы, рвётся наружу, не подчиняясь больше никакому контролю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.